

Патруль прикладом стучит на крик,
Капли летят брызг дождевых,
Нагибаясь, псу говорит старик:
— Их двое, и мир для них.

Николай Тихонов

1

Дождь не истекал вторую ночь: придвигался и отходил, висел на паучьих турниках, рассыпался от убежищ за разогнанной в мае больницей, и в доме налилась гулкая, древесная глухота. Черная зелень, отяжелев, свесилась к нижнему этажу. За училищами в глубине улицы, как и прежде, изнывала невыясненная сигнализация: Глостер с чужих слов уверял его, что ни одна из команд, отправленных для разбирательств, не вернулась в порядке; греко-римлянин, конечно, смеялся над ним, но Никита не раздувал в себе лишней обиды. Глостеру никогда не везло, с кем бы он ни сблизился, чего бы ни плел, и неточная почва уже оформлялась у него под ногами, сказали бы многие: большие дни и вечера, когда он, не скрывая сияния, присутствовал в первом ряду, прекратились давно, сохранившись лишь в дерганных записях на опустевшем канале, но и музыка стала другой, слава стала другой; отстающие же подвергали Никиту печали, и он начинал сторониться любых разговоров о них.

Он потянул окно, впуская шумящий воздух; комната поплыла за спиной под стенание сирены. Веревоочный старик спал, ровно держа просвечивающую голову. Тощее одеяло он скомкал ногами; Никита разжал синеватые колени, достал и поправил зажеванное. Он был еще слаб от последней болезни, но ему не лежалось,

не думалось; адмиральская мебель, захваченная на раскопах плехановцами, подавляла его по ночам, якобы неприятельский флот. Все втащили к нему, пока длился их госпиталь-фест, предварительно умыкнув у него из гримерной ключи; возвратившись к полуночи после всех церемоний, он застал старика на бескрайней кровати с якорем в изголовье и приклепнутым к рыму плехановским стикером. Для него же достали обитую синим и золотым софу легких кровей, неуместную для сна, длинный, как целый вагон, гардероб, книжный шкаф с наугад выбранными книгами и громоздкие кресла на страшных змеящихся лапах, которые Никита неделю спустя уступил детсовету, занимавшему слитый бассейн.

Стащив отсыревшую от бессонницы майку, он спиной положился вслепую на гардеробную дверь, стараясь остыть; повыше поясицы присосалась латунная накладка. В комнате вспыхнула молния, и Никита увидел себя синеватым, преломленным, ему захотелось одеться; здесь же с лестницы донесло неприязненные голоса поднимающихся зрителей и согласное вяканье раскрепощенных перил. Он со всхлипом отлип от двери и прильнул к прихожей, предуготовляясь к ночным новостям; как всегда, он метался, как лучше предстать им: концертное платье, как Никита много раз это видел, ввергало их звенья в болезненный ступор; в то же время гражданский хлопок, брошенный в эвакуацию и разошедшийся в городе без всякой привязки к заслугам, упрощал разговор, но усыплял в проходящих готовность вдаваться в подробности, что было тоже невыгодно. Все-таки он укрывшись хлопчатой болотной футболкой с нечитаемым в темноте отпечатком и увереннее подвязал беговые штаны; руки его повисли, и музыки в них было немного. Они протоптались снаружи еще минуту, прежде чем позвонить; Никита успел обмякнуть в локтях и коленях, угадав их смятение. Смотрители привели землистого

ординарца с алголевской меткой на плече и болтающей нижней губой; выяснялось, его приглашали на острова: лето было еще высоко, ночи взыскующи; под завесой сплошной воды лучшие из неспящих соревновались в неуравновешенной стрельбе, бранясь с секундантами после каждой промашки. Он не слишком любил эти выезды, но, преследуемый сиреной, был рад избавлению; пока посыльный договаривал, он достал с вешалки островные одежды и скрылся в спальне, не тратя лишних слов.

Во дворе, перемалываемом дождем, Никита убрал голову в капюшон, как заложник; до ближней пристани вела пешая колея, огибавшая больничный двор с раскисшей гуманитарной фанерой, футбольное место и котельный городок, лишь недавно раскрашенный. И большая сегодня возня, спросил он у провожатого, когда зрители отстали от них; ординарец взглянул помутненно, но быстро нашелся и рассказал, что еще неизвестно, куда все идет, поскольку с Трисмегистом на острова пришел катер с немаркированным грузом, о котором можно только гадать. Прибыл ли Лютер, спросил еще Никита, сам того не желая; Лютер два дня как болен, объявил ординарец, находится дома в жару, вчера приставили доктора. Кто же занят на срисовках, удивился Никита, повышая голос; о срисовках не распорядились, отвечал провожатый. Это было сомнительно, но Никита не стал ничего уточнять; они миновали футбольное поле, и с котельной стены, он дождался, зажглась высокая люминесцентная надпись: РУСНЯ, Я НЕ ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, остальное сейчас не читалось. От светящейся краски Никита вообразил, как страдающий Лютер лежит у себя в комнате и окно его видится снизу горящим от жара: оранжево-красным. За котельной они свернули к доносившейся реке, и асфальт прекратился под ногами; поднялись размашистые тополя, ветер сделался резче. Река открывалась сперва нешироко, слабо тронутая

лунным сдавленным блеском; от нее пахло ржавчиной и молоком, как всегда по ночам. С пристани долетали отрывистые голоса: переправный взвод строился к их появлению, а за десяток оставшихся шагов над железными воротами зажглась гирлянда, не снятая с Нового года; это была новая выходка, и Никита совсем повеселел. Ординарец поторопился толкнуть ворота и, не успев, соскользнул ногою в грязь, но стремительно выбрался и доделал, что начал. На пристани, обнесенной огнями, дождь метался заметней, и выстроившиеся взводники всматривались в него с оживлением; ответственный выступил к ним из темноты, представляясь, но Никита не смог разобрать. Видели ночь, успел сказать он встречавшему; тот отозвался как следует, но без большой охоты и повел их к воде через залежи списанных катамаранов, сложенных кое-как и ничем не покрытых. Никиту задел бесцветный ответ, но сообразить подходящий упрек времени не хватило; ординарец, спрыгнув в катер первым, пошевелил управление и пригласил его усесться. Ответственный раскидал канаты и вытянулся в струну, углы его воротника белели в промокшей мгле.

Острова лежали в двух минутах от общего берега; регулярные части, предводимые Почерковым, предпочли превратить это место в избранный сад, чтобы баловать праведников и дразнить недопущенных; если это последнее и удалось, то не слишком, сказал бы Никита: игры, ставшие главным гвоздем островного досуга, не особо заботили дальнюю публику. Регулярники, однако, расчистили острова от лежняка и столетнего мусора, сделали скважины и вернули бейсбол; полигон же остался неоживленным: Почерков сам не знал, что ему делать с квадратами рассыпающегося покрытия и неразобранными складами, к которым не прилагалось описей. На игры он, более прочих вложившийся в их заведение, никогда не являлся, и Никита опешил, разглядев его теперь

на причале с приветственным жезлом впереди вспомогательной шеренги «Алголя». Так-то, Никита Евгеньевич, рассмеялся полководец, всех ожидает одна ночь, как популярно писали у вас на тетрадках; рады видеть под общим покровом, смотрите под ноги. Никита обнялся с ним, не убирая капюшона; алголевцы прошумели свое и рассеялись после почерковской отмашки, с ними исчез и Никитин доводчик. Три-мегист притащил что-то в катере, никто еще не разбирался, продолжал Почерков, упреждая расспросы; больше всех заметалась команда Энвера, но это еще ничего не может означать: психический батальон! Игры между тем вялые, все как перегорели под этим дождем, или от беспокойства. Без Лютера им не блещет здесь, высказался Никита, пробуя почерковскую верность, но полководец ему не ответил; освещенная газом аллея вела их в обход полигона к вертолетной площадке, переделанной в стрельбище квестмейкерами из «Чабреца». Синие вспышки нарастали в конце аллеи, щелчки выстрелов стали слышны под дождем; Почерков переместился направо, шурясь от летящей воды. Что до Энвера, заговорил он опять, то я сказал бы, что несчастный зимний праздник, по всей видимости, повредил ему несколько больше, чем мы все заключили об этом прежде; существует мнение, что в сентябре ему предстоит санаторий. Это что-то подсказывало, но идти оставалось недолго, и Никита решил не задавать новых вопросов; скоро они вступили на стрельбище, не встречаемые никем, и поднялись на вторую трибуну, безлюдную из-за дождя.

По мишеням работали четверо, из которых Никита мгновенно узнал неугомонного Люблина в придурковатом вьетнамском шлеме, а Почерков указал на Энвера, беспорядочно переводившего патроны под боком у дремлющего секунданта. На укрытой трибуне сидело десятка три невнимательных зрителей, и Никита в конце концов понял, что игры совсем ни при

чем; Саша, обратился он к Почеркову тогда, все-таки объясни мне, для чего мы находимся здесь, как давно длится это уродство на стрельбище и кого мы имеем на первой трибуне хотя бы примерно. Почерков ледяно рассказал, что стрельба продолжается уже четвертый час, а трибуна занята людьми Трисмегиста с вкраплениями некоторых энверовских присных; внизу с вечера были замечены Несс, Изегрим с группой перемещенных и Центавр с заместителями; ближе к берегу же стоят шесть палаток эстонцев. Пожалей меня, Саша, поднял голос Никита, ты говоришь, что у тебя на острове воткнуто шесть эстонских палаток, и по-прежнему хочешь уверить меня, что не знаешь, о чем это все; разве я тебе мальчик из хора? Почерков наклонил вперед большую мокрую голову, весь деревеняя, и Никита успел пожалеть о настырности, но в это же самое время на стрельбище зажгли верхний свет, секунданта потребовали вернуть оружие, и Энверовы приживалы ринулись с трибун к опекуну. До поры катавшийся по областям за фарфором и старой печатью, слабый ногами Энвер стянул вокруг себя неожиданное количество похожих охотников, прогоревших еще раньше, чем он сам. На гребне признания он спонтанно и с силою высказался в защиту работников мелкого займа, что уберегло часть из них от позорных последствий, но в дальнейшем Энвер больше не позволял себе действовать так же пылко; со временем общее любопытство к нему унялось и, возможно, простыло бы совсем, но трагический фейерверк, о котором любой вспоминал с содроганием, сказался в нем так, что в недолгий срок Энвер в общих глазах превратился в неряшливого недоумка, не приемлемого ни на серьезном совете, ни в тесном застолье. В то же время его голодранцы, озабоченные единственно тем, чтобы оградить покровителя, с непременным старанием подражали Энверу, повторяя за ним говоримую чушь, обливаясь пропитками на стройкомплексе и яростно

голосуя при виде пожарной машины. В конце этого мая их команда отметилась дважды: с промежутком в неделю на непредназначенных стенах в центральном районе возник желтый рот Лоры Палмер из приквела и огромная реплика: ПОТОМУ ЧТО В ОГНЕ Я УЗНАЛ НЕЧТО ЛУЧШЕЕ! Раскаленный рот был рано замазан деповскими, но протяженные слова, занявшие одиннадцать секций забора вокруг литейного двора, провисели на месте полдня: не поверив, что к росписи не было постановления, комендант до обеда искал концы, пока секретарь не наткнулся на выложенные Энвером неприкрытые снимки обеих работ. На закраску согнали полсотни человек, а о случае рассказали главе; вечером кто-то из гамсуновских порученцев, привезший Никите сливы, поделился, что глава «удручен», но рассчитывает, что подобное не повторится. Выждав еще неделю с последней заборной истории, старьевщик с приверженцами затесался на игры и, к неудовольствию многих, получил разрешение на пробный подход; отработал удачнее всех, обойдя в том числе двух стрелков из «Черной весны», отступивших в слезах, но не стал заявляться на основную часть из-за ног. Скупщикова сноровка застала наблюдавших врасплох, но, как становилось понятно теперь, сыграла не в пользу Энвера; на свету Никите было видно, как лицо его делается из малинового ярко-белым, а поджатые локти приплясывают на весу. Притекшие к ограждению присные, отвечая, пинали решетку и что было сил вертели головами. Не выслушавшая результатов, Энвер покинул стрельбище и встал с ними рядом; вслед за тем тот же самый алголевец, что доставил Никиту, поднялся в комментаторскую и, стесняясь, пригласил собравшихся в гарнизонный парк, где вольнокомандующий Трисмегист представит для них номер с разоблачением. С другой трибуны повеяло заждавшимся восторгом, и Никита почувствовал, как тонкое пламя досады жжет его щеки;

держась за Почеркова, он встал на скользкие доски прохода и кое-как стал спускаться.

Выставленные к воротам парка допризывники, сонно хорохорясь, отправляли приближавшихся к летней эстраде; Почерков пожелал им расти, но его не узнали. В деревьях светилось куда больше воротников, чем на крытой трибуне, и Никите наконец стало понятно, что о готовящемся представлении не знал лишь он сам и Энвер с подзащитными. Пластиковые стулья возле круглой эстрады были заняты все; почерковские кантонисты, присланные придержать им места, сигналили спереди, но Никита встал сразу за партером, завязав руки в узел на груди, и Почерков примкнул к нему, словно бы навсегда замолчав. На белесой эстраде сновал полусогнутый техник, перетаскивая провода; дождь как будто смыкался, и небо уже раздавалось с восточного края. Трисмегист появился без предвосхищений в лыжном костюме, делавшем его еще выше; невыспавшееся лицо выглядело желто, но стойка была узнаваемо безупречна. Пока он прилаживался к микрофону, Никита, ломая в темноте глаза, впустую высматривал Глостера в массе сидящих: все казались ему одинаковы ростом, плечами и стрижкой. Тишина, поднимавшаяся от пластмассового партера, давила на темечко; по всему, было впору светать, но ночь была неподвижна. Наконец разобравшись, Трисмегист сделал к публике лишний шаг с микрофоном в руках: чем ясней мы растем, тем уверенней сердце, произнес он огромно и просто; все, что сделано, принадлежит одинаково всем, и все, что происходит, относится к общему делу; хорошо помня об этом, мы не можем более не считаться с тревогой, относящейся до коменданта заштатной артели Энвера, чьи последние акции послужили причиной явного замешательства, не вполне нам привычного. Известно, что мы не стоим за единственность смысла в той отрасли, где теперь занят Энвер: ставка давно осудила известные росписи

не за их содержание, а за побочный ущерб, и довольно об этом; а сегодняшний сбор обусловлен недавно проникшими сведениями о предполагаемых вскоре сборах при каменоломнях, о которых не был уведомлен ни один интендант. Мы не можем со всей прямотой говорить о стоящих за этими планами, так как источники слишком разнятся, продолжал Трисмегист, но настойчивость, с которой в них повторяется имя Энвера, отягощает республику. Мы намерены теперь произвести выяснение о причине таких сообщений; принадлежности, подсказал он за сцену погашенным голосом, и двое техников, не разгибаясь, выставили на передний край подбитый железом деревянный контейнер в темных потеках.

Партер выпрямился в слабых креслах, и Никита едва успел сказать сам себе, что эстонцы странно задерживаются в палатках, когда их защищенные головы легко проступили вокруг сидящих. Трисмегист откинул хлопнувшую крышку и по одному извлек на эстраду шесть коротких широких поленьев, сложил их вместе и затворил ящик; потянувшись рукой себе за спину, он достал из-за пояса блистающий в электрическом свете молоток. Первая новость о необъявленных сборах пришла с человеком, направленным в ставку Центавром, рассказал он, что же, мы попросим Центавра подняться сюда. Безгубый Центавр встал с крайнего кресла и вышел на сцену под блянье занимающих два первых ряда энверовцев; Трисмегист не вмешался, глаза его были усталы. В сообщении Центавра, продолжал он, указывалось, хотя бы и мельком, что съемку проекта готов обеспечить скупающий Глостер; Глостер, просим тебя. Вспыхнул бешеный шепот, и Никита почувствовал горечь под языком; Глостер вырос из середины с кофейной картонкой в руке и без спешки вышел на сцену, встав в дальнем конце от Центавра. Трисмегист на мгновение повернулся к нему, но продолжал в микрофон: к нам также дошли безымянные

мнения о причастности к замыслу переписчика Формана и метролога Главка; для полноты дела мы просим их выйти сюда. Две фигуры прибавились к вышедшим прежде; эти заняли сторону Глостера, но стояли как бы в полусне, даже не взглядывая друг на друга. Трисмегист еще вызвал наверх лотерейщика Клинта, ссылаясь на старую связь между ним и Энвером по линии провальных писчебумажных поставок; Никита наравне со многими покачал головой, но Трисмегист едва ли что-то заметил и наконец произнес: поднимайся, Энвер. Прошлый скупщик порывисто встал и вспрыгнул на сцену, задев сложенные обрубки; снизу брызнул и сдался смешок, кто-то выкрикнул: «Атанде», и снова сошлась изнывающая тишина. Мы просим сожителей сохранять стойкость, как бы ни обернулось выяснение, сказал Трисмегист; что должно случиться, случится быстро. Глостер допил картонку и забарабанил ногтями по пустышке, красивый и злой. Энвер сложил руки на грудь и смотрел далеко, чуть колеблясь одной ногою. Центавр и Клинт имели вид столпников; остальные стояли без лишних отличий. Трисмегист поднял из-под ног первый обрубок; Глостер, пусто сказал вольнокомандующий; поставив поленце на крышке контейнера, он вынул из рукава длинный гвоздь и уткнул острием в середину среза, после чего тремя ударами молотка утопил его в дерево. Глостер не шелохнулся, хотя перестал барабанить в стакан; Трисмегист снова поднял обрубок, развернул его к зрителям вбитым гвоздем и убрал обратно в ящик. Снизу едва зашумели, и тогда Трисмегист сказал: Главк, в этом случае гвоздь был вбит лишь на четверть, и метролог не отозвался ничем. То же самое вышло с Форманом и Клинтом; далее Трисмегист, верный жанру, назвал Центавра и, не задерживаясь, вбил его гвоздь до конца; мелко дрогнув в коленях, китайский начальник не изменил заносчивой позы, и дальше гадатель, чуть слышно повысив голос, произнес: Энвер.